



Юрий

Полдюков

Работа
над
ошибками

*геометрия
любви*

Юрий Поляков

Работа над ошибками (сборник)

«АСТ»

1986

Поляков Ю. М.

Работа над ошибками (сборник) / Ю. М. Поляков — «АСТ»,
1986

ISBN 978-5-17-054338-0

«Работа над ошибками» – одно из прославивших Юрия Полякова произведений. Герой повести, журналист, случайно становится учителем, и отныне ему доступна та изнанка школьной жизни, о которой не принято было говорить – и о которой лучше бы не знать.

ISBN 978-5-17-054338-0

© Поляков Ю. М., 1986

© АСТ, 1986

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Работа над ошибками | 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 14 |
| 4 | 19 |
| 5 | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 27 |

Юрий Поляков

Работа над ошибками (сборник)

Работа над ошибками

1

Учение, или, как теперь принято говорить, учеба, – это, по-моему, многолетняя изнурительная война между классной доской и школьным окном. Начинается она, как и Вторая мировая, – 1 сентября, с переменным успехом идет весь учебный год, и только к маю распахнутое весеннее окно одерживает прочную победу. Тогда Министерство просвещения объявляет перемирие, продиктованное якобы заботой о детях и в дальнейшем именуемое «каникулами».

Наверное, когда-нибудь будут строить школы без окон, а вместо застекленных рам установят дополнительные доски и даже дисплеи. Тогда срок обучения сократится раза в два, в полтора – уж точно! Представляете, какая народнохозяйственная выгода! Я уж не говорю о сохранении учительских нервных клеток, ведь для преподавателей оконные проемы – то же самое, что для пограничников контрольно-следовая полоса...

Но как раз сегодня в окно можно и не смотреть, ничего интересного: пасмурное холодное небо, растерянные, поторопившиеся с новенькой листвой деревья, широкоформатное окно операционной в больничном корпусе напротив пустынно, лишь вдалеке виднеется работающий башенный кран, похожий чем-то на аиста, несущего в клюве упакованного младенца. Но если всерьез говорить о птицах, то позавчера я видел совершенно удивительную ворону, она сидела на культе обрубленного тополя и, подозрительно оглядывая меня, долбила победитовым клювом скукожившийся позеленевший кусок сыра...

Однако я отвлекся и не заметил, как бдительная Елена Павловна, не отрываясь от учебного процесса, разоблачила мое бегство в законную действительность. Она строго посмотрела на меня своими серо-голубыми, похожими на большие снежинки, глазами и чуть заметно покачала головой, что означало: «Ну, Петрушов!.. От кого угодно – от тебя никак не ожидала!»

И в самом деле, неловко получилось... Но ничего страшного; есть испытанный, проверенный опытом поколений выход! Прежде всего нужно продолжать как ни в чем не бывало спокойно смотреть в окно, потом, медленно обернувшись, глубокомысленно поглядеть на учителя, а затем мучительно нахмуриться и вдруг озарить лицо восторгом внезапного приобщения к сумме знаний, накопленных человечеством... И наконец, в порыве вдохновения, страстно склониться над тетрадью. Когда-то я владел этим приемом в совершенстве, но сейчас, встретив осуждающий взгляд Елены Павловны, покраснел и смущенно пожал плечами: мол, извините – бывает. Но она снова покачала головой. У нее на щеке маленький шрамик, похожий на след от детского пирке: когда учительница нервничает – шрамик розовеет. Елена Павловна Казаковцева два года назад окончила педагогический институт и еще верит, будто в условиях обыкновенной средней школы можно научить немецкому языку. Обычно случается наоборот: преподаватели сами постепенно забывают то, что узнали в вузе.

Елена Павловна опустила глаза на кулон с электронными часиками, подошла к доске, выбрала мел подлиннее и учительским почерком начала писать задание на дом, вызывая привычный ропот класса.

– Ой, как мно-о-ого! – заволновались дети, с малолетства приучающиеся к коррективке планов.

– Ну хорошо, – согласилась Казаковцева, – выучить новую лексику и повторить тему «Моя семья». Буду спрашивать!

Для убедительности она решила подчеркнуть задание, но брусочек мела звонко переломился и, оставив на поверхности доски выпуклую белую точку, упал на линолеум. Я невольно подался вперед, но Елена Павловна легко и красиво, точно на аэробике, подхватила обломок и быстро выпрямилась, мимолетно проверив мое впечатление. Если б такое случилось в четвертом классе, мел мгновенно был бы подхвачен и подан пунцовым от смущения шпингалетом с первой парты. В десятом классе, полагаю, на помощь рванули бы сразу несколько галантных жеребцов. Но дело происходило в шестом...

Окрыленные победой над темными силами школьной программы, ребята переписывали задание в дневники, а Казаковцева тем временем отряхнула руки, поправила стрижку, оставив в темных волосах млечный след, и села заполнять журнал, исподлобья наблюдая за вверенным ей ученическим коллективом. Длинные, тонколодыжные ноги она по-девчоночьи скрестила под стулом.

– Тимофей! – сурово сказала учительница, не отрываясь от журнала.

– А чего всегда я? – заученно обиделся нарушитель дисциплины.

– Ты меня не понимаешь?

– Понимаю, – отозвался Тимофей Свирин и, оскорбленно шевеля губами, вернулся на свой участок стола с территории, временно захваченной у соседки.

Елена Павловна всех учеников называет по имени: Таня, Катя, Алик, Тимоша... Но если недовольна, если зарозовел шрамик на щеке, то имена провинившихся произносятся холодно и полно: Татьяна, Екатерина, Альберт, Тимофей... Громкого командного голоса и пронизывающего педагогического взора она пока еще не выработала, иногда, правда, ей удается нащупать верную воспитующую интонацию, но глаза не успевают потемнеть и продолжают улыбаться. При всем желании внимательные дети пока не могут поверить в строгость и непреклонность своей учительницы.

Елена Павловна еще раз посмотрела на кулон и с удовольствием отметила, что до конца урока осталось три минуты, то же самое, но с огорчением, взглянув на часы, выяснили дети. Нынешнему поколению хорошо – даже специальные часы для подростков выпускают, так и ходят теперь: во рту соска, на руке «Сейко». А в былые времена ребятам приходилось мучительно вглядываться в преподавательский циферблат, прислушиваться, не двинулись ли на завтрак младшие классы, а потом оповещать товарищей, сколько осталось до раскрепощения.

– Оценки за урок, – объявила Казаковцева и раскрыла тоненькую тетрадь (ставить отметки сразу в журнал она пока не решается), – Таня – «три», Коля – «пять», а тебе, Маргарита, к сожалению, «два»...

В этот миг бикфордов шнур урока догорел, раздался дребезжащий взрыв школьного звонка и одновременно с ним удар бесплатного учебника по голове: Тимофея настигло справедливое возмездие.

– Звонок для учителя! – вполне сурово крикнула Елена Павловна, но ураган свободы не остановить. Ребята, получившие благополучные отметки, осадили преподавательский стол: ни одна знаменитость за всю жизнь не раздаст столько автографов, сколько обыкновенный учитель всего лишь за полугодие. Пока Казаковцева заверяла оценки, выведенные в дневниках предупредительными учениками, Маргарита, отхватившая «пару», постаралась первой увильнуть из класса, справедливо считая: чем позже родители узнают горькую правду, тем лучше для них же! Но уйти было непросто, в дверях кто-то упал, и образовалась маленькая «ходынка». Елене Павловне пришлось прикрикнуть, и наконец истомившийся шестой класс шумно извергнулся в коридор.

В комнате остался один-единственный ученик, щупленький рыжий, с яркими мультипликационными конопушками на лице – Тимофей Свирин. Он переминался с ноги на ногу, разглядывал замок своего портфеля и страдал от моего присутствия.

– Тимоша, я тебя слушаю! – оторвалась Казаковцева от журнала.

– Елена Павловна, – решился паренек, обиженно глянув в мою сторону. – А мне?.. Ну, это... про бабушку рассказывать?

– Нет-нет! – спохватилась учительница. – Ты, Тимочка, повтори тему «Sport»...

– Хорошо! – согласился он, непримиримо посмотрел на меня и вышел из класса. В приоткрывшуюся дверь на миг ворвалась перемена без берегов, и снова стало сравнительно тихо.

– Вот так! – горько сказала Елена Павловна. – «Моя семья»... Кем работает твой отец? Кто по профессии твоя мать? А ведь можно и по-другому спросить: есть ли у тебя отец? В этом классе почти каждая вторая семья неполная... А слова «отчим», например, в школьной программе нет... У Тимоши вообще одна бабушка осталась: родителей прав лишили...

– Пили? – спросил я, пересаживаясь из-за последнего стола за первый.

– Если б просто пили! Тут какой-то другой глагол придумывать нужно! Слезы наворачиваются...

– Учитесь, Елена Павловна, властвовать собой, – вдумчиво посоветовал я. – А то ученики будут властвовать вами!

– Прямо сейчас придумали? – с иронией спросила она.

– Прямо сейчас. Обычно я заготавливаю с вечера, но...

– Андрей Михайлович, – перебила меня Казаковцева. – Я все-таки вас спрошу: зачем вы пришли в школу? Думаете, здесь легче?

– Видите ли, Елена Павловна, для того чтобы выяснить этот непростой вопрос, нам нужно встретиться в неофициальной обстановке... Многого не обещаю, но скучно не будет!..

И я понял, что меня повело... Бывают же настоящие мужчины, эдакие неразговорчивые небожители, с ходу подкупающие своей глубинной задумчивостью! Даже неглупые женщины тратят годы, чтобы проникнуть в тайны их загадочного немногословия. И ведает, как говорится, лишь бог седобородый, что этот сосредоточенный избранник мучительно размышляет, например, о том, куда все-таки запропастился лэйбл от новой шмотки, а то ведь ненароком постираешь в то время, как допускается исключительно сухая чистка.

Мою качаловскую паузу прервал Петя Бабкин из девятого класса: он всунулся в комнату, догадливо задрал брови и потом со словами: «Я дико извиняюсь!» – схватил себя за вихры, изобразил схватку с невидимым злодеем и скрылся.

– Вот нас и застали! – сообщил я вместо того, чтобы тонко улыбнуться и промолчать. Остановиться я не мог...

Остановила меня Елена Павловна.

– Андрей Михайлович, – сказала она. – Мужчины, как я понимаю, делятся на три типа: первые мямлят и смущаются, вторые изображают наивных нахалов, третьи, самые противные, ведут себя так, словно все услуги уже оплатили через фирму «Заря»...

– Простите, – находчиво ответил я и почувствовал, как от стыда у меня затеплились уши.

– Андрей Михайлович?! – изумилась Казаковцева, и шрамик на ее щеке стал похож на свежий след от хлесткой ветки. – Вы меняетесь на глазах!

– Я не меняюсь... Я, собственно, из первого типа, но осваиваю, так сказать, смежную специальность...

– Первый тип мне тоже не нравится.

– А второй?

– И второй, – холодно посмотрев, отрубила она. – А если вы всерьез решили заняться взаимными посещениями, ходите и к Алле Константиновне... Она гораздо опытнее меня!

«Ничего не скроешь!» – горько подумал я и неловко, даже как-то нелепо стал выпрастываться из-за тесного ученического стола.

2

Оказывается, мы прообщались с Еленой Павловной целую перемену. Не успел я выйти в коридор, развести по углам двух не то боксирующих, не то каратирующих пятиклассников и вернуть плачущей девчужке похищенный микрокалькулятор – раздался звонок. Гул голосов и толчея достигли запредельных показателей и постепенно пошли на убыль. Наверное, сейчас со стороны наша школа похожа на огромную старую радиолу, внезапно отключенную от сети. Кстати сказать, здание у нас давнишнее, четырехэтажное, украшенное с фасада невыразительными от регулярной побелки профилями четырех гениев.

Но я отвлекся. Буйство и половодье перемены после звонка улеглись, школьники в ожидании преподавателей стали скапливаться возле кабинетов. С общеизвестным вопросом: «Где журнал моего класса?» – мимо тяжело проследовала преподавательница химии Евдокия Матвеевна Гирина; улыбаясь, она раздавала дружественные подзатыльники малышне, по неопытности попавшей в ее кильватер.

Поседельный учитель математики Борис Евсеевич Котик стоял возле двери и подозрительно, как суровый капитан, оглядывал вернувшихся из увольнения учеников. Пропустив в класс последнего, он медленно и со значением закрыл дверь, словно заdraил люк подлодки, отправляющейся в автономное плавание.

Еще какое-то время по коридору метался взволнованный Тимофей Свирин: его портфель был надежно спрятан жестокосердными старшеклассниками. Я тоже сообразил не сразу, потом дотянулся и снял искомую сумку с противопожарного ящика. Осчастливленный ребенок просунулся в кабинет литературы и начал сбивчиво объяснять свое опоздание Алле Константиновне Умецкой. Наконец ему разрешили присутствовать, и Алла, подойдя к порогу, чтобы плотнее затворить дверь, по какой-то навязчивой учительской привычке выглянула в коридор, увидела меня и еле заметно кивнула. В следующий момент я сообразил, что виновато улыбаюсь захлопнутой двери.

О, закрытая классная дверь! За ней происходит чудо воспитания и обучения, таинственный процесс взаимообогащения учителя и ученика. Если прислушаться к звукам, доносящимся из кабинетов, можно немало узнать о тех, кто, стоя у доски или расхаживая между партами, сеет в пределах школьной программы разумное, доброе, вечное...

Из кабинета литературы отчетливо слышен громкий, твердый голос Умецкой: «В образе Хлестакова Гоголь хотел показать такое негативное явление, как хлестаковщина...» А ведь десять лет назад моя бледненькая однокурсница Аллочка получала свои тройки только потому, что великодушные преподаватели не хотели омрачать сессию девичьим обмороком. Разговаривала она тихо, точно боялась собственного голоса. Однажды летом мы лежали с ней в густой траве возле темных объемов недостроенной фермы, и Алла, ежась под моей стройотрядовской штормовкой с надписью «Selo Borisovo-1975», жалобно повторяла: «Скажи что-нибудь! Почему ты молчишь?» А я совершенно не знал, что говорить.

Я тогда еще не умел произносить обязательные в этих случаях и ни к чему не обязывающие слова.

– Так и будешь молчать? – послышалось из-за двери.

Помню, как во время весенней практики Алла обиделась на непослушных ребят, расплакалась и выбежала из класса. На итоговой конференции заведующий кафедрой, анализируя этот печальный случай, трясся от негодования и предлагал Умецкой сменить, пока не поздно, профессию. Доцент был историком дальневосточного пионерского движения и не мог предвидеть, какой станет Алла, какая твердость появится в голосе, в глазах, в походке. Вот так живешь, ощущая себя тридцатилетним младенцем, а потом внезапно оглянешься и увидишь, что друзья твоей юности неузнаваемо изменились, что, идя по городу, ты можешь долго рас-

сказывать о старых домах, стоявших некогда на месте новостроек, что твои годы, поделенные на два, равняются возрасту половозрелой девятиклассницы. Но я отвлекся...

Дальше по коридору – кабинет математики. Борис Евсеевич говорит тихо и монотонно: из коридора слов не разберешь. Но время от времени за дверью раздается дисциплинированный смех, который так же организованно обрывается. Не знаю, чем можно рассмешить на уроке алгебры, но известно, что ученикам Котика, подававшим документы на мехмат, забирать их оттуда не приходилось. А ведь, как говорится, статистика не учитывает армию абитуриентов, подготовленных Борисом Евсеевичем в свободное от работы время.

Из кабинета биологии, где ведет урок Полина Викторовна Маневич, слышен ровный гул: учитель говорит о своем, дети о своем. Полина Викторовна – тонкая светская женщина, нагрузка у нее маленькая, и зарплату она с улыбкой называет «косметическим пособием». Маневич дважды выходила замуж, и того, что бросили на поле брака в страхе бежавшие мужья, ей хватит надолго. Она ведет светскую жизнь, постоянно толкается на приемах, премьерах, вернисажах, запросто достает книги, которые мы, грешные, видим только на международных ярмарках, но при всем при том на ее уроках стоит совершенно оловянная скукота.

А вот в кабинете истории – творческий беспорядок, слышно, как ребята шумно доказывают недоверчивой Кларе Ивановне Опрятиной необходимость установления абсолютной монархии во Франции. Дискуссии и педагогические эксперименты – ее слабость; однажды на уроке в свободном, но хорошо подготовленном споре «славянофилы» – девочки – чуть не забили «западников» – мальчиков; слава богу, методист из ГУНО восстановил историческую справедливость. Ученики Клары Ивановны, надо сказать, имеют представление о том, что, кроме борьбы производительных сил с производственными отношениями, в истории случались и другие любопытные факты. Я дважды сидел на уроках Опрятиной, и мне иногда казалось, что вот сейчас она поинтересуется: «А что по этому поводу думает некто Петрушов?» На всякий случай я начинал прикидывать, как смогу ответить, и покрывался испариной, обнаруживая, что давно разучился отвечать, а умею только спрашивать. Никогда не пойму, зачем Клара Ивановна согласилась быть завучем. Это так же нелепо, как если бы она взялась вести занятия по строевой подготовке вместо нашего военрука Жилина, который носит свою майорскую форму с той серьезностью и значительностью, на какую способны только отставники. Мало того, Опрятинина чуть не стала директором! Но я отвлекся...

Дверь следующего класса распахнута настежь, значит, там как раз дает урок директор школы Станислав Юрьевич Фоменко. Еще в институте Стась был комиссаром сводного стройотряда и уже тогда обещал вырасти в крупного организатора наших побед. Вот и сейчас, вытягивая из оцепеневшего ученика глубоко запрятанные знания, Фоменко продолжает руководить детским учреждением. За учительским столом сидит печальный завхоз Шишлов и заполняет ворох бумаг. За такую маленькую зарплату, какую получает Шишлов, производить материальные ценности нельзя, можно их только охранять. У себя в подсобке завхоз устроил живой уголок: держал белого крысенка Альбертино, а после скандала, устроенного санэпидемстанцией, завел аквариум со скаляриями, плоскими рыбками, похожими на кленовые листья, высушенные между страницами учебника.

Стась державно расхаживал по классу и одинаково пристально следил за тем, как на доске решается система линейных уравнений и как продвигается дело у Шишлова. Наконец он увидел меня, дружественно кивнул и строго показал глазами на журнал, что означало: хоть ты и однокашник, но журнал заполнять все-таки надо, а то не ровен час нагрянет проверка, и по шее получит директор, а не ты! Я незаметно вытянулся во фронт, щелкнул каблуками и спустился на второй этаж.

Здесь было неспокойно: в кабинете химии у Евдокии Матвеевны Гириной, в просторечье – Гири, кого-то шумно выгоняли из класса.

– Нет, ты выйдешь! – истошно приказывала Гиря.

Судя по голосам, класс поддерживал товарища, который ни за что не хотел отрываться от полюбившегося коллектива. Говоря языком химических терминов, за дверью шла бурная реакция – и было неизвестно, кто в конце концов выпадет в осадок. Поскольку там за право на образование боролся мой девятый класс, я решил вмешаться.

У порога, судорожно сжимая в одной руке портфель возмутителя спокойствия, а другой указывая теперь уже не на дверь, а на меня, стояла Гиря: лицо бордовое, в глазах слезы, очки запотели. Нарушитель (опять Кирибеев!) монолитно сидел на своем месте, образуя со столом единое целое.

– Тогда уйду я! – бросила последний довод Евдокия Матвеевна.

– Портфель-то оставьте! – ответил наглец.

Ребята меня заметили и с интересом ждали, когда классного руководителя обнаружат противоборствующие стороны. Первым меня увидел Кирибеев, устало усмехнулся, почесал подбритый висок, нехотя встал и направился к двери. У порога он задержался, перехватил из рук окаменевшей Гири портфель и вышел из класса.

– Подождешь меня возле учительской! – распорядился я вдогонку.

Кирибеев оглянулся, и выражение его лица можно было истолковать двояко:

1) Жду.

2) Жди!

– Это какой-то кошмар! – запричитала Гиря, возвращаясь к доске, где под заголовком «Железо в природе» рябила химическая криптограмма. – Когда все это кончится?

Не знаю, что она имела в виду: свой выход на пенсию или тот торжественный миг, когда народное образование всю полноту ответственности за выпускников перекладывает на плечи внешкольных организаций?

Я заторопился в учительскую. В актовом зале ребята пели о празднике «с сединою на висках», готовились к Дню Победы. В кабинете физики была мертвая тишина: наверное, Лебедев дал самостоятельную работу и читает в оригинале Агату Кристи. Язык он знает лучше нашего «англичанина»-почасовика Игоря Васильевича.

Вот тебе и свободный урок! А я-то рассчитывал потратить «окно» на то, чтобы обдумать и записать планы уроков, которые проводил на прошлой неделе: порядок есть порядок. Теперь же, в новой исторической ситуации, нужно объясняться с Кирибеевым, выставленным вопреки всем инструкциям из класса. Считается почему-то, что жизнь и здоровье ученика, присутствующего на уроке, находятся в полной безопасности, в то время как ребенок, изгнанный в коридор, становится легкой добычей любой трагической случайности. А значит, преподаватель, допускающий такую форму воздействия, как удаление нарушителя дисциплины с урока, рискует оказаться осужденным в лучшем случае завучем, в худшем – народными заседателями...

Возле учительской было зловеще безлюдно.

Я поспешно заглянул в комнату: целый и невредимый Кирибеев, вальяжно раскинувшись в кресле, ожидал моего прихода. «Неприятный парень!» – подумал я. У него – темные, с каким-то синтетическим отливом волосы, узкое бледное лицо, сросшиеся брови, а под глазами недетские морщинистые мешки... Я подумал и вдруг почувствовал, что Кирибеев угадал мои мысли. Все дети – экстрасенсы! Хотя, впрочем, с другой стороны, у меня тоже выступают мурашки, если кто-нибудь приближается ко мне с дурными намерениями...

Я сел с Кирибеевым, подождал, пока он догадается сменить позу отдыхающей одалиски на более подобающую для данной ситуации, потом профессионально нахмурился и поинтересовался, как дошел он до жизни такой.

– Ну дошел! – вызывающе согласился он, но исповедь хулигана прервал телефонный звонок.

– Школа! – отозвался я и пожалел, потому что «беспокоили» из РОНО. – Это учительская, вы позвоните в канцелярию!.. – Но мне было объяснено, что канцелярия «вымерла», и,

кроме меня, выполнить обязанности неизвестно где болтающейся директорской секретарши некому. – Подождите, возьму чем записать! – перебил я женщину, которая привычной скороговоркой уже начала диктовать телефонограмму. – Так... Теперь можно... Пишу...

«На основании приказа № 92 РОНО от 25. 04 прошу обеспечить явку пионерских отрядов для участия в празднике «Рождение пионерского отряда». Форма одежды парадная. Ответственные за жизнь и здоровье детей – классные руководители».

Я невольно поежился, но прочувствовать всю глубину этой ответственности не успел, потому что следом шла вторая телефонограмма:

«Директору школы. Завхозу. Сегодня, до 15.00, сдать сведения по расходу электроэнергии за апрель».

Видимо, этой самой отчетностью и занимались во время урока Стась и печальный завхоз Шишлов. А женщина из РОНО между тем требовала передать еще что-то на словах ответственным за питание, но тут уж я вспылil и объяснил: в конце концов она разговаривает не с секретаршей, а с преподавателем литературы!.. Однако для нее это был не довод.

Положив трубку, я посмотрел на Кирибеева и по выражению его лица понял, что парня несколько удивила та многообразная пена, которую взрослые люди взбивают вокруг элементарного факта посещения школы простым советским ребенком.

– За что тебя выгнали из класса? – жестко спросил я.

– Выгонять из класса запрещено. Я сам ушел! – ответил юридически грамотный Кирибеев.

– Права свои ты знаешь – это хорошо. А обязанности?

– Я ее первый не трогал.

– Допустим. А с чего началось?

– Она...

– Евдокия Матвеевна, – подсказал я.

– Гиря сказала, чтобы я ноги из прохода убрал.

– А зачем ты их выставил?

– А зачем столы такие маленькие делают? Нормально не сядешь.

– Ты так бы и объяснил Евдокии Матвеевне.

– Я объяснил, а она заверещала, что таких, как я, вообще на нарах учить нужно...

– Тебе не кажется, дорогой товарищ, – решил я видоизменить тему, – что ты неуважительно говоришь об учителе: «она», «заверещала»...

– А почему я должен уважительно говорить о человеке, которого не уважаю?

– Учителя ты обязан уважать!

– Ничего я никому не обязан!

Я долгим педагогическим взглядом посмотрел на Кирибеева, хотя уже понял, что продолжать разговор так же бесполезно, как объяснять глухонемому устройство стереофонических наушников.

– Возвращайся в класс, – холодно распорядился я, – и скажи Евдокии Матвеевне, что мы с тобой объяснились. А разговор этот мы еще продолжим...

Кирибеев лениво встал, перекинул через плечо сумку с изображением разинутого рта певички и двинулся прочь походкой, какая бывает у людей, сильно ушивающих брюки. Оставшись один, я еще раз глазами пробежал телефонограммы, вспомнил толстенную амбарную книгу, лежащую на столе у секретарши директора, и подумал: чтобы выполнить все эти распоряжения, нужно создать еще один педагогический коллектив во главе с директором, коллектив, свободный от преподавательской работы. Представьте себе две армии: одна воюет, а другая выполняет распоряжения командиров и начальников. И все довольны. Придя к такому выводу,

я глянул на вмонтированные в стену часы и обнаружил, что от моего «окна» осталась одна «форточка».

3

Пройдет много лет, и высоколобый человек будущего, читая пожелтые страницы наших жизнерадостных отчетов, докладов, справок, порадует за своих везучих предков, которым выпало покайфовать в золотом веке. Так я рассуждал, сочиняя планы уроков. Между прочим, в школе мне приходится писать гораздо больше, чем в газете, где я проработал шесть лет и откуда уволился полгода назад. Все началось с придирок нового главного редактора, а поругаться с начальством – то же самое, что поссориться с силами природы! Тем более если твой уважаемый руководитель принадлежит к значительной прослойке деятелей, использующих могучий двухтумбовый стол одновременно как пьедестал, таран и флюгер. В отличие от прежнего главного редактора, торопливого, неверного, отходчивого, новый шеф не говорил, но отливал слова в редком металле, а по личным нуждам шествовал так, словно направлялся к трибуне. Только однажды я видел его по-настоящему взволнованным: ему позвонила жена и сообщила, что на них катастрофически протек вышеживущий товарищ, оказавшийся к тому же и вышестоящим. Новый шеф пришел к нам из Академии общественных наук. Это раньше могли взять и поставить человека без слуха во главе консерватории, теперь перед подобным назначением глухую, как тетеря, кандидатуру будут долго и упорно учить. Но я отвлекся...

– Полагаю, нам придется расстаться! – в одночасье сообщил мне руководитель родного печатного органа.

– Вы разве уходите? – участливо спросил я.

Шеф пожал плечами и посмотрел сквозь меня на свою секретаршу: борясь с гордостью, она как раз вносила в кабинет поднос, уставленный тарелками. Специальной столовой для начальства у нас не было, и главный редактор предпочитал питаться в номенклатурном одиночестве.

Естественно, через месяц я получал в кассе расчет, подслащенный каким-то заваливающимся гонорарчиком, а местком, призванный защищать мои профессиональные интересы, щепетильно вернул мне семьдесят шесть рублей – взносы в «черную кассу». «Ты должен бороться! – убеждали ребята из моего отдела эстетического воспитания. – Все тебя поддержат!» Но я привык работать, а не бороться. Думаю, именно из-за многочисленных креслоборцев происходит немалое количество наших несударниц.

Я был спокоен: меня давно переманивали в молодежный журнал – тихий пансион для путешествующих в прекрасное, по сравнению с сумасшедшим домом ежедневной газеты. Я гордо и неторопливо сдал дела – рукописи, начатые темы, картотеку, оргтехнику. Два мои материала, очерк и рецензия, были засланы в набор под псевдонимом. Впоследствии шеф их очень хвалил за остроту, стиль и вообще заметил, что после того, как «коллектив отторг Петрушова, отдел стал работать энергичнее, слаженнее, интереснее...».

Но одну тему я все-таки заначил: во-первых, в журнал нужно было прийти со стоящей идеей, а во-вторых, не хотелось останавливаться на полпути. Все началось с того, что парни из службы «Память», работавшей под моим чутким руководством, притащили воспоминания деда, заведовавшего перед войной литературным отделом нашей газеты. К нему-то и носил свои рассказы двадцатипятилетний учитель словесности Николай Пустырев. Один рассказ дедуля даже напечатал и схлопотал выговор, что по тем временам было очень серьезно. Но главное заключалось в другом: эти предвоенные лобастые мальчишки работали как сумасшедшие, тогда и строили, и писали быстро и много. Богатыри – не мы! Так вот, у Пустырева в столе лежал большой роман. Рукопись прочитал и очень хвалил Михаил Афанасьевич Булгаков, а потом еще кто-то, чьим мнением тогда дорожили намного больше. Заинтересовавшись, я разыскал в затрепанной довоенной подшивке опубликованный рассказ, он назывался «Выше неба» и повествовал о молодом летчике, мечущемся между страстью к небу и любовью

к девушке. Я читал и все ждал, когда же эти два порыва сольются в едином устремлении, но так и не дождался. Но гораздо больше поразило меня другое: у Пустырева было редкое чувство слова, тот абсолютный языковой слух, который дается от рождения, и очень немногим.

Я завел папку с надписью «Николай Иванович Пустырев. Потерянный роман» и начал искать. К моменту моего нежного прощания с новым шефом удалось кое-что выяснить. Оказывается, в 1940 году Пустырев неожиданно расстался с преподавательской работой, хотя был блестящим словесником и послушать его уроки приходили из других школ. «Искусство требует жертв», – осторожно заметил по этому поводу бывший сослуживец Пустырева, ныне ответственный работник Минпроса. Встретился я и с теми, кто когда-то учился у Николая Ивановича, один из них, директор большого завода, захлебываясь, вспоминал, как Пустырев поставил в школьном драмкружке «Тартюфа» и сам великолепно играл Органа. Уйдя из школы, Пустырев поддерживал отношения с некоторыми своими учениками, они-то и помогли ему в октябре 1941 года перевезти вещи, включая архив, на квартиру сестры, жившей в Балакиревском переулке.

На фронт Пустырев попросился в первые дни, поначалу его не брали, кажется из-за плохого зрения. У меня есть фотография, и я хорошо представляю себе этого худощавого волевого парня, носившего очки, точно досадную уступку мировому капиталу. Не успев написать ни одного письма, в октябре 41-го он пропал без вести. Теперь, спустя полвека, мы воспринимаем слова «пропал без вести» как «погиб», но тогда они вбирали и совершенно иной смысл.

В начале сорок второго года Тамара Пустырева эвакуировалась в Казахстан, и все мои попытки выяснить ее дальнейшую судьбу оказались бесполезными. Не думаю, что архив брата она повезла с собой по адовым дорогам эвакуации, но роман все-таки сохранить могла: и лежит сейчас моя милая рукопись где-нибудь между старинными письмами и книжками коммунальных платежей. А может быть, Тамара догадалась отнести роман в местное издательство, и пустыревский труд похоронен в завалах юношеской и пенсионной графомании. Это был тупик.

Тогда я пошел другим путем – принялся разыскивать товарищей Пустырева по учительскому институту, что было несложно: в отличие от меня и многих моих однокурсников, они до пенсии проработали в школе. И хотя во времена пустыревского студенчества парней в учительском институте было достаточно, общался я в основном со старушками, похожими на увядших актрис и отставных общественных деятельниц одновременно. Все они со вздохом доставали снимок выпускного курса и таинственно рассказывали, как накануне прощального бала Коля Пустырев поссорился с Лялочкой Онучиной и даже поначалу отказывался фотографироваться. Потом, оказывается, состоялось примирение, и я представляю эту сцену по тогдашним фильмам: он бурно врывается в комнату, удерживая клумбоподобный букет, а она, отвернувшись к окну, еще плачет, но уже смеется. «Ищите Лялочку, она знает о Коле все!» – в один голос советовали старушки. И я нашел шестидесятипятилетнюю Лялочку, вычислил, отыскал в Улан-Удэ. Точнее, мы нашли, и вчера наконец пришло письмо от Елены Викентьевны Онучиной-Ферман. Честно говоря, я хотел принести конверт в класс нераспечатанным, но не удержался и прочитал...

Но я забежал вперед, а тогда пути поисков только нащупывались, и мне очень хотелось прийти в журнал со стоящим материалом, хотя очевидно, что карточные расходы, записанные на салфетке рукой, скажем, Некрасова, ценятся много выше романа какого-то безвестного довоенного литератора...

Впрочем, с молодежным журналом вышла неувязка: место, которое вот-вот должно было освободиться, – не освобождалось. Пенсионер со стажем, занимавший его, неожиданно почувствовал себя лучше, а может быть, просто понаслушался рассказов о том, что пожилые люди обычно не выдерживают праздности, и решил продлить свое активное долголетие.

Я нежданно получил творческую свободу, о чем втайне мечтает любой штатный журналист, и по вечерам с чувством превосходства смотрел на энергичных западных безработных, постоянно появляющихся в сюжетах программы «Время».

Когда ты имеешь кресло, тебя ежедневно засыпают просьбами написать что-нибудь эдакое, но приходится отказываться за неимением времени и сил, поэтому первое, что я сделал, оказавшись на «вольных хлебах», – обошел дружественные редакции и получил радостные заверения и обещания позвонить, как только появится интересующая меня тема. Но выяснять, какая именно тема меня интересует, никто не стал. В других местах меня хлопали по плечу и говорили:

– Будет что-нибудь стоящее – неси!

А что нести? Журналист, приученный строчить в ежедневную газетную прорву, наивно думает: вот раскидаю «текучку» – и напишу, уж я-то напишу! Но с правом выбора приходит растерянность, а с творческой свободой – редкие гонорарчики вместо небольшой, но позволяющей спокойно смотреть в завтрашний день зарплаты. Молчаливый укор в глазах труженицы-жены мне не грозил, так как я подошел к своим тридцати годам с паспортом, не тронутым штампами загса, а родителям, проживающим далеко от Москвы, о некоторых переменах в жизни сообщать пока не стал.

За месяцы вольного хлеборобства я нарубил несколько очерков, репортажей и рецензий, изобрел полдюжины интервью, но стойкий пенсионер в журнале держался. Мне уже приходила идея отдать без остатка свой талант и опыт многотиражной печати, обещавшей к окладу еще и премии за освоение новой литейной техники, но как раз тут и произошла встреча, имевшая для меня, как сказал бы большой писатель, судьбоносное значение.

Однажды я зашел в бывший мой отдел, попил с ребятами чаю, выслушал гневные комментарии к утренней планерке, узнал, что в отделе писем новая и очень милая девушка и что наш редактор не отличает Авдотью Панаеву от Веры Пановой. Комната, где я проработал шесть лет, изменилась: на стене пока еще висел шарж, изображающий меня капитаном тонущего пиратского барка, но за моим столом сидел незнакомый парень. Стол он почему-то переставил, наверное, в целях самоутверждения. В общем разговоре появились обороты, прозвища, намеки, мне уже не понятные, а когда принесли гранки и все бросились вычитывать материалы, по обыкновению ругая линотипистов, ответственного секретаря и шефа, я почувствовал себя человеком, совершающим праздную прогулку вдоль работающего конвейера...

Часа полтора я фланировал по улице: терпеливо стоял перед красным светом, неторопливо переходил улицу, косясь на вибрирующие от ненависти к человеку автомобили, ускорял шаг, чтобы составить более полное представление о понравившейся незнакомке, останавливался перед газетными стендами и радовался мастерству коллег, умудряющихся в двухсотстрочном очерке дать настолько обобщенный образ современника, что прототип, как выражаются наши крупные руководители, уже «не играет значения».

Встреча произошла в метро. На «Площади Революции» вагон превратился в детскую игровую площадку. На платформе последнего мальчишку еще отдирали от нагана, который сжимает в руке бронзовый матрос, а по вагону мимо натянуто улыбающихся пассажиров уже носились горластые школьники. Ребят, естественно, сопровождали взрослые: двух ошалевших родительниц можно было сразу установить по суетливым движениям и неуверенным окрикам, какие наблюдаешь у общественных инспекторов ГАИ, зарабатывающих себе дополнительные дни к отпуску; третьей была Алла Умleckая. Последний раз мы виделись с ней восемь лет назад, когда меня, учителя с годовым стажем, призвали на срочную военную службу. Да-да, тогда мы последний раз собирались все вместе: Стась, Алла, Лебедев... Они же, вместе с другими моими друзьями, проводили меня на сборный пункт. До сих пор помню, как неловко чувствовал себя в старой телогрейке рядом с молодой и красивой Аллой. Из армии я написал ей несколько писем, в которых, блюдя наставления командиров и начальников, не раскрывал рода

войск и дислокацию части, а попросту сообщал, что мой новый профессиональный праздник 19 ноября и что служу я в местах, где отбывал наказание Федор Михайлович Достоевский. Алла написала мне несколько писем, а потом, как сообщал Стась, «сочеталась браком и заматерела». Впрочем, наши отношения как любовь не квалифицировались – и поэтому обижаться было не на что.

За полтора года службы я в совершенстве освоил воинскую специальность – «заряжающий с грунта» и отредактировал несколько сотен писем, которые мои однополчане отправляли домой.

Все годы учения в пединституте мое перо тянулось к бумаге, и вот стоило мне послать несколько информашек в дивизионную газету «Отвага», как я превратился в любимого военкора. И ничего удивительного, ибо все эти «ефрейторы Недыбайло», «рядовые Ковтунадзе», «сержанты Сидоровы», как говорят ученые, суть псевдонимы одного-единственного молодого лейтенантика – корреспондента «дивизионки». А тут – живой военкор! К концу службы я широко и привольно печатался в армейской, а также окружной печати. Венцом моего творчества стали четырнадцать строк под названием «Расчет к бою готов!» в «Красной звезде».

В армии думаешь: вот только вернусь, со всеми перевидаюсь, всех обниму! Но оказалось, мои бесконечные полтора года на гражданке пролетели так быстро, что у родителей даже не успела подойти очередь на импортную мебель, а фундамент, заложенный рядом с домом, так и не стал новостройкой. Стась, увидев меня в пушистой дембельской шинели, спокойно и дружелюбно обнял, потом показал своей жене Вере и пригрозил ей, улыбаясь: «Если будешь пилить, снова призовусь!» От Фоменко я узнал, что Алла вместе с супругом трудится в развивающейся стране, что муж ее – трепач и что его любимое выражение – «качать валюту».

Я зашел в школу, где работал до призыва, и застал классическую картину Репина «Не ждали!». Часов для меня не оказалось, но я не настаивал, потому что уже осенила меня своими крылами, похожими на рычаги линотипа, муза журналистики.

Бывший секретарь парткома нашего пединститута, как удалось выяснить, перешел на работу в горком партии; я припал к стопам, и он, ворча о феминизации учительской профессии, позвонил в редакцию. Вакансий, разумеется, не было, их и не бывает никогда, но меня взяли на гонорар. Иными словами, сколько напишу – столько получу. За первый же мой материал «Путь к сердцу рабочего» (о безобразной работе треста столовых) главный редактор получил сначала выговор на самом высоком уровне, а потом на еще более высоком уровне – благодарность. Второй мой материал... Но я опять отвлекся!

Итак, вернемся на станцию метро «Площадь Революции». Поезд тронулся, детские вопли и грохот мчащегося состава образовали миленький дуэт, но Алла соблюдала полное спокойствие среди разбушевавшихся учеников, и только ее зеленые, ненавязчиво подкрашенные глаза время от времени вспыхивали концентрированной строгостью и пригвождали к месту особенно разбездобразничавшегося ребенка.

– Какие все-таки недисциплинированные дети! – завозмущался старичок, все свое детство, наверное, промаршировавший под барабанный бой. – Уймите же их наконец!

– Да и пусть побегают! – добродушно разрешила старушка.

– И попрыгают! – со смехом добавил я.

Алла медленно повернула голову, чтобы рассмотреть остроумного пассажира, и наши глаза, что называется, встретились... Поначалу она меня совершенно не узнала, но потом бросилась навстречу со словами, что я нисколько не изменился.

– Я тебя все время читаю! – радостно сообщила Алла, опомнившись от бурного узнавания.

– А куда вы едете? – перевел я разговор на другую тему.

– В Измайлово, на соревнования... Завтра обязательно расскажу Стасю и Максику! Мы уже давно хотели встретиться с тобой, даже в газету тебе звонили!

– Когда?

– Несколько раз. Только у вас там никогда никого не бывает, даже удивительно, как газета каждый день выходит!

– Мне тоже удивительно, – согласился я. – А ты, значит, видишься с ребятами?

– Вижу? Я работаю с ними в одной школе!

Заинтересовавшись, с кем это так улыбочиво беседует их неумолимая учительница, дети поутихли, в глазах мамаш засветилось женское соучастие, а занудливый старичок ехидно заметил, что у всех дамочек, даже «пэдагогов», на уме одно и то же.

Метропоезд, вырвавшись из грохочущей темноты тоннеля, стал тормозить, мелькающая за окнами подземная архитектура постепенно замедлила движение и остановилась. Алла протянула руку и через мгновение, властная и недоступная, считала по головам учеников, которых измученные родительницы пытались выстроить в колонну...

4

Стрелка на больших электрических часах громко ударилась о цифру 20 – и тут же загремел звонок, возвестивший об окончании урока. Одновременно со звонком в учительскую вошла Полина Викторовна, она сразу сняла трубку телефона, уселась в кресло и до конца перемены отрезала нашу школу от внешнего мира.

Следом появилась обиженная на жизнь Евдокия Матвеевна, хрястнула по столу кипой лабораторных тетрадей и, всем своим видом давая понять, что перемена – не время отдыха, углубилась в проверку, зло подчеркивая красным карандашом обнаруженные ошибки. Затем в комнату впорхнули три (никак не запомню их имена) преподавательницы начальных классов, они редко спускаются сюда со своего четвертого этажа, разве что покурить. Наша учительская, кстати сказать, состоит из двух смежных комнат, большой и маленькой, где в случае необходимости можно подымить так, чтобы не видели ученики, которые этим временем сами смоят где-нибудь в туалете. Кроме того, в маленькой комнате (ее вслед за Борисом Евсеевичем именуют «курзалом») можно обсудить личные и производственные проблемы, пожаловаться на судьбу и директора, примерить обнови.

Учительницы младших классов занялись как раз примеркой, потому что, когда, нетерпеливо разминая сигарету, Котик пытался войти в курзал, оттуда раздался визг, по давней традиции обозначающий потревоженную женскую стыдливость.

– Курзал занят! – грустно констатировал Котик и переключился на Елену Павловну, направлявшую перед смутным, покрытым темными пятнами зеркалом свою новую, довольно рискованную кофточку. – Леночка, вы очень дорогая женщина! – вздохнул Борис Евсеевич.

– О чем вы говорите! Лучше вспомните, как были одеты десятиклассницы на Новый год! – вставила Полина Викторовна, прикрывая трубку ладонью. – На приемах такого не увидишь...

– Хорошо были одеты, в соответствии с растущими потребностями! – согласился Котик.

– В соответствии с непонятными возможностями! – тонко улыбнулась Маневич.

– У нас-то что! – взмахнула рукой Казаковцева и манекенисто отвернулась от зеркала. – В спецшколах (мне однокурсница рассказывает) вообще с ума сойти можно! Бриллиантовые сережки на физкультуре теряют... Подруга французскую шубу купила, последние отдала и стесняется носить: все старшеклассницы в таких ходят!

– Куда мы идем? – ужаснулась Полина Викторовна, вороша телефонную книжку.

– Андрей Михайлович, вы в тряпочных разговорах принципиально не участвуете? – насмешливо спросила меня Елена Павловна, и пока я прогревал мозги, чтобы достойно ответить, она, пожав плечами, скрылась в курзале. Там ее приняли тихо: или уже закончили примерку, или сразу почувствовали свою сестру.

Некоторое время все молчали, и стал отчетливо слышен гул перемены. В учительскую, интеллигентно сутулясь, зашел Максим Эдуардович Лебедев, вяло поздоровался, достал из кармана душистый носовой платок и, сняв очки, начал задумчиво протирать отливающие янтареи толстые стекла.

– Это хамство! – неожиданно крикнула Гирия и швырнула красный карандаш. – Неужели никто не может сказать Казаковцевой, что в таких кофтах по школе-то не ходят!

– А как же ей ходить? – удивился Борис Евсеевич.

– Как все! – ответила Гирия: на ней был темно-зеленый костюм из чистой полушерсти.

– Что значит «как все»? – возразил Котик. – Тогда уж лучше снова мундиры ввести. Кстати, может быть, их зря отменили!

– При чем здесь мундиры-то? Совесть надо иметь! Она бы майку одела...

– Майки, Евдокия Матвеевна, надевают, – вкрадчиво подсказал Борис Евсеевич.

– Да не цепляйтесь вы к словам-то! – возмутилась Гиря.

Максим Эдуардович вздохнул и отвернулся, точно воспитанный человек, вовлекаемый в магазинную ссору. Котик примирительно развел руками и подсел ко мне.

– Теперь, после «Доживем до понедельника», – почти на ухо проговорил Борис Евсеевич, – никто не говорит «ложить», но вы представляете, сколько фильмов о школе нужно снять, чтобы научить педагогов говорить правильно?

– Не представляю! – ответил я.

В этот момент дверь учительской содрогнулась от глухого удара, словно один хоккеист с налету припечатал к борту другого, потом послышался гневный голос Клары Ивановны, и в наступившей тишине раздались извиняющиеся басы резвящихся детишек. И вот на пороге появилась Опрятинна. Ее брови после гневной нотации были сдвинуты, и, наверное, поэтому вопрос, который она задала Гире, прозвучал резче, чем следовало:

– Евдокия Матвеевна, почему во время вашего урока Кирибеев сидел в туалете?

– Как же вы его там нашли? – совершенно некстати изумился Борис Евсеевич.

– Нашла! – даже не взглянув на Котика, ответила Клара Ивановна, потом раздраженно спрятала в рукав кончик носового платка и сурово добавила: – Сколько можно повторять: не выгонять, не выгонять!.. В тысяча двести восемьдесят шестой школе ребенка выгнали, а он из окна вывалился! Вы этого хотите?

– У меня «окно» было, – заступился я за Гирю. – Он срывал урок... Я хотел...

– Ну и напрасно! – отмела объяснения Опрятинна, вложив в три слова три глубоких смысла:

во-первых, человек я в школе временный;

во-вторых, опыта педагогического у меня нет и не предвидится;

в-третьих, меня вообще никто не спрашивал...

Я даже привстал в кресле, чтобы достойно ответить, но Борис Евсеевич, положив мне на плечо руку, усадил на место.

– А что делать-то, если он на голову садится? – вдруг в лучших рыночных традициях заголосила Гиря. – Смотрит на меня белыми глазами и ржет!..

– Евдокия Матвеевна, на полтона ниже! – поморщилась Опрятинна; по мере того как страсти накалялись, она явно успокаивалась.

– Кирибеев действительно ведет себя безобразно! – поддержал Гирю Максим Эдуардович, и его пальцы пробежали по пуговкам жилета, точно по клавишам баяна. – Кирибеев совершенно не считается с учителями.

– Заставьте его считаться с вами, Максим Эдуардович, – посоветовала Клара Ивановна, – в противном случае – вы не педагог.

– Как заставить? – расстегивая нижнюю пуговицу жилета, спросил Лебедев.

– Розги нужно вернуть, розги! – примирительно пошутил Котик, но вызвал совершенно противоположную реакцию.

– Хватит вам подъелдыкивать-то! У вас-то он не хулиганит! – закричала Евдокия Матвеевна.

– Вы меня осуждаете? – обиженно спросил Борис Евсеевич и вышел из боя.

– Клара Ивановна, – дождавшись окончания перепалки, продолжал Лебедев, – вы отлично знаете, что Кирибеев не считается ни с кем... Мы же с вами вместе его мать приглашали...

– Еще раз повторяю: заставьте его уважать вас! – холодно посоветовала Опрятинна.

– А почему вы превращаете дисциплину в личное дело каждого учителя? Сколько порядка в обществе – столько и в школе! – залепил Максим Эдуардович и расстегнул вторую пуговку.

– Не нужно подводить сомнительные социальные теории под собственную педагогическую беспомощность! – парировала Клара Ивановна.

– Моя беспомощность – следствие вашего неумения создать нормальную обстановку. В школе стало невозможно работать! – сдерживаясь, выстроил ответ Лебедев и расстегнул сразу две пуговицы.

– Никто вас в школе-то не держит! – политично примкнула к завучу Евдокия Матвеевна.

– А вы не распоряжайтесь моим местом в жизни! – вскричал Максим Эдуардович так, что даже Маневич вздрогнула и оторвалась от телефона. Из курзала выглянули испуганные учительницы начальных классов, скрылись и выпустили на разведку Елену Павловну.

– Товарищи, – взмолилась она. – Дети услышат! Максим Эдуардович, уступите – вы же мужчина!

– В том-то и беда, – с горечью непонятого ясновидца проговорил Лебедев, – в том-то и беда, что в школе мужчины давно уступили место... женщинам! – Последнее слово он произнес с особой интонацией, с какой говорят – «бабам», и, быстро застегнув пуговицы так, что осталась лишняя петелька, бросился вон из учительской, словно Чацкий из фамусовской Москвы.

Клара Ивановна молча покачала головой, вздохнула и отправилась в свой кабинет, расположенный рядом с учительской.

– Да-а! – осуждающе сказала Евдокия Матвеевна. – Умеет Stanisław Юрьевич подбирать кадры! – Но, видимо сообразив, что обвинение относится и ко мне тоже, заторопилась вслед за Опрятиной, чтобы подробно и без свидетелей оправдаться.

Убедившись, что гроза миновала, из курзала выскользнули учительницы начальных классов, они были похожи на детей, случайно подслушавших скандал взрослых. Потом из учительской удалился не оправившийся от обиды Борис Евсеевич. Мы остались вдвоем с Еленой Павловной, если не считать повисшей на телефоне Полины Викторовны. Казаковцева внимательно разглядывала на стенде список с распределением общественных нагрузок между учителями, а я искал повод для начала разговора и убеждался, что, увы, не мастер первого броска. Пока мы молчали, в комнату заглянула Вика Чельшева, хорошенькая девочка-бройлер из моего девятого класса, по всеобщему мнению влюбленная в Лебедева. Ее совсем недавно перевели к нам из спецшколы с языковым уклоном.

– Я за журналом! – объяснила Вика и поискала взглядом своего избранника.

– Возьми! – разрешил я.

– Спасибо, – разочарованно ответила Чельшева, вынула из ячейки журнал и вышла, прилежно покачивая неученическим станом.

5

Абсолютной тишины на уроке не бывает, как не бывает в природе абсолютного вакуума; все равно по классу блуждают молекулы шепотов, вздохов, хихиканий... У шестого класса сегодня самостоятельная работа – генеральная репетиция перед городским изложением, которым насмерть перепуганные учителя страшат учеников, а те давно уже поняли, что если кто и боится двоек, то это сами же преподаватели.

Я два раза медленно, что называется с выражением, прочитал текст, мобилизовал все свои артистические данные, чтобы длинными паузами обозначить точки, средними – запятые, а трагической мимикой – самые коварные места. В заключение я дал несколько советов, не подрывающих моего учительского авторитета: выражаться кратко, не запутываясь в сложных предложениях, следить за проверяемыми гласными и помнить: изложение, сданное после звонка, – это двойка, а одинаковые ошибки у сидящих за одним столом – единица.

– А если случайно? – раздалась взволнованные голоса.

– Случайность – неосознанная закономерность! – ответил я со значением.

Вообще мой небольшой, с громадным перерывом педагогический стаж подсказывает мне, что для учителя главное – твердость духа, уверенность в себе. Но если малышам достаточно убедительной интонации, то старшеклассникам подавай убедительное содержание, и если второе подменяется первым, преподавателя быстренько «раскусывают», и учительский стол превращается в баррикаду, разделяющую враждебные стороны.

Именно такая гражданская война идет на уроках Гири.

Но с другой стороны, интеллигентный, умный, знающий Лебедев тоже не владеет классом, чего-то не хватает – видимо, не случайно девятиклассники прозвали его «доцентом». Кстати, мы много рассуждаем об акселерации детей, но почему-то не говорим об инфантилизме педагогов. Стась жаловался, что регулярно вызывает в школу мамашу одной учительницы начальных классов, а дипломированная дочка сидит в это время рядом, комкает платочек и обещает исправиться.

– Андрей Михайлович, писать уже можно?

– Конечно! Или я из стартового пистолета должен выстрелить?

Ребята склонились над тетрадями и засопели.

Кстати, мне кажется, что теперь я проще нахожу общий язык с ними, чем восемь лет назад. Тогда, распределенный в школу после института, я входил в класс с чувством неловкости и удивления, потому что хорошо помнил себя сидящим за партой, потому что мое новое положение у доски временами казалось мне недоразумением, странной мистификацией. Иногда, спрашивая ученика, я ощущал, что спрашиваю самого себя, и невольно начинал лихорадочно формулировать ответ. Это ведь в армии кто старше по званию, тот умнее, в школе все-таки немного по-другому.

Однажды на уроке меня спросили, что такое краснотал, я пролепетал чепуху про весенние ручейки, а дома по словарю выяснил, что на самом деле это – кустарник, но так и не решился рассказать ребятам о дурацкой ошибке. Не знаю, возможно, до сих пор кто-нибудь из моих учеников живет в полной уверенности, будто красноталом называются тающие весенние сугробы, а другие, узнав однажды настоящее значение, криво усмехнутся, припомнив молоденького, невежественного, но самоуверенного преподавателя.

Должен сознаться, восемь лет назад внешне я почти не отличался от старшеклассников, тем более что растительность на моем круглом, розовощеком лице прозябала неохотно. В качестве знака различия я повязывал галстук, который, как я теперь понимаю, чудовищно не подходил ни к костюму, ни к рубашке, о носках даже и говорить не хочется. И вот однажды, когда я стоял у доски и вдохновенно излагал новый материал, в комнату заглянул инспектор РОНО,

увидел на учительском месте взволнованного парнишку и строго сказал: «Сядь на место! Где ваш учитель?» Класс зашелся диким хохотом. На перемене, в кабинете директора, обиженно сопя, я принимал извинения инспектора и с упреком повторял: «Но ведь я же был в галстук! В галстук...» Потом, став журналистом, я многократно рассказывал этот забавный случай приятелям, но даже не предполагал, что вернусь, пусть ненадолго, в школу...

– Андрей Михайлович, – раздалось жалобное сообщение, без которого не обходится ни одна самостоятельная работа. – У меня ручка не пишет!

Я очнулся от воспоминаний, полез в боковой карман и отдал авторучку, предназначенную специально для подобных превратностей, потом медленно, словно наладчик вдоль исправно работающих станков, прошелся между столами. На самостоятельной работе, как у взрослых, так и у детей, сразу виден характер: одни пишут сосредоточенно, не обращая ни на кого внимания, другие вертятся, точно на вращающемся стульчике, успевая заглянуть в тетради ко всем соседям, третьи, поставив учебник шалашиком, отгораживаются даже от своего товарища по парте, четвертые обреченно смотрят в одну точку, отказавшись от борьбы за тройку. Я скользил взглядом по тетрадям и учительским оком видел россыпи ошибок; там, где ошибки можно добывать уже промышленным способом, я задерживался, делал скорбное лицо и громко вздыхал. Ученик испуганно начинал проверять написанное, понимая, что не от трудностей личной жизни вздыхает учитель, а от безграмотности учащегося.

Впрочем, если зашла речь о личной жизни и ее сложностях, нужно вернуться к встрече в метро. Как и пообещала Алла, через несколько дней мы собрались у Фоменко. Жена его, Вера, с привычным гостеприимством накрыла стол и ушла в соседнюю комнату, попросив позвать ее, как только закончатся разговоры о школе. Стась и Алла начали, перебивая друг друга, рассказывать о времени и о себе. Иногда медленные, хорошо выстроенные фразы вставлял Лебедев.

Оказалось, Фоменко стал директором полтора года назад, причем довольно неожиданно, потому что все шло к назначению Клары Ивановны. Между прочим, Опрятиня была исполняющей обязанности после принудительного вывода на пенсию прежней директрисы, оценивавшей способности учеников по тем выгодам, которые можно извлечь из их родителей. Она и теперь еще где-то преподает и шумно радуется, что хоть на старости лет смогла заняться не администрированием, а обучением и воспитанием, к чему, естественно, стремилась всю сознательную жизнь. Стась работал в нашей школе с самого распределения, а последние три года был внеклассным организатором, но ему и не снилось директорское кресло. Зато это пришло в голову некоторым учителям, опасавшимся непростого характера Клары Ивановны, не сообразившей вовремя, что твердый стиль руководства – привилегия человека, утвержденного в должности. Впрочем, у Опрятини были свои основания для жесткости, потому что уверенность в себе – это прежде всего уверенность в своих друзьях: заведующей РОНО была Клара однокурсница, и, судя по нежным отношениям, в молодости они увлекались разными молодыми людьми. В школе партию Опрятини составили Гирина и Маневич.

Но тут произошло два события, решивших судьбу Фоменко. Во-первых, на очень большом совещании чуть ли не министр чуть ли не просвещения посетовал, что у нас недостаточно еще молодых, энергичных директоров школ. Все дисциплинированно прозрели и ахнули: «Совершенно недостаточно!» Во-вторых, внезапно заведующим РОНО стал бывший первый секретарь Краснопролетарского РК ВЛКСМ Шумилин, которому прочили совершенно иную карьеру. А Шумилин знал Стася еще секретарем комсомольской организации и председателем районного совета молодых учителей. Почуввав неладное, Гирина и Маневич помчались по инстанциям, настырно доказывая, что Фоменко еще не дорос до директорства, что руководителем должна стать Клара Ивановна, опора и надежда советской педагогики. Первокласснику ясно, такая активность сильно подорвала шансы Опрятини. Тем более что сразу же сформировалась оппозиция во главе с Аллой, в сторонники Стася записались и те, кто собирался вить

из молодого директора веревки. Оппозиция активно включилась в расхваливание достоинств Клары Ивановны, довела восторги до абсурда, и когда выяснилось, что Опрятин директором быть не может, «стасевцы» сдержанно, с элементом здоровой критики стали похваливать своего лидера.

Когда назначение Фоменко состоялось, остававшийся «над схваткой» Котик произнес свои исторические слова: «Стась у Клары украл номенклатуру». Сейчас, когда Фоменко показал хватку и многие поняли свою ошибку, начали поговаривать, будто Стась из корыстных соображений внедрил в школу своих друзей по пединституту, но это, как вы понимаете, клевета. Алла пришла в нашу школу три года назад, когда вернулась из развивающейся страны и развелась с мужем, пришла не потому, что здесь работал Стась, а потому, что ей предложили нормальную нагрузку. А вот Лебедева перетянул уже Стась. Еще в стройотряде, я помню, Максим даже не прикидывался, что собирается учительствовать: в его семье институтский диплом считался чем-то вроде второго аттестата зрелости. Кандидатская диссертация – другое дело, хотя тоже по нынешним временам маловато. У Лебедева имелась сестра, которую отец, ответственный работник Минпроса, уже защитил от превратностей жизни, наступала очередь Макса. Но у него, как у многих детей из хороших семей, случались приступы самостоятельности. В очередной раз на него нашло перед самым окончанием вуза, и он отрекся от приготовленного диссертательного местечка, отправившись в народ, а именно – в школу. Поначалу ему нравилась такая головокружительная самостоятельность, а начальство и коллеги трепетно воспринимали его как полномочного представителя могучего родителя. Но жизнь показала, что могущество – это все-таки не постоянный признак, как, скажем, отпечатки пальцев, а всего лишь следствие служебных обязанностей, возложенных на того или другого гражданина доверчивым обществом. Лишившись должности, Лебедев-старший превратился в рядового дачного ворчуна, а Макс из будущего ученого, выбравшего тернистый путь в науку, – в обыкновенного учителя. Наверное, так себя чувствует нахальный мальчишка, отправившийся задирать взрослую компанию и вдруг обнаруживший, что его собственные здоровенные дружки куда-то исчезли.

Судьба Лебедева забуксовала, как ухоженные «жигули», соскочившие с асфальта на размокшую грунтовку. Обуянный принципиальностью директор школы при поддержке правдолюбивого коллектива резко отказал Максиму в давно обещанной рекомендации для аспирантуры и дал понять, что с уходом преподавателя физики педагогический процесс нисколько не пострадает. Не сталкивавшийся с серьезными трудностями и поэтому очень гордый, Лебедев собрался хлопнуть дверью, но тут пришел на выручку бывший однокурсник Фоменко...

– Я не приму у тебя работу, имей в виду! – не утерпев, сказал я Маргарите Коротковой, писавшей изложение в соавторстве с половиной класса...

А Стась, узнав о беде Лебедева, сказал так:

– Поработаешь немного у меня, а потом пойдешь в аспирантуру! Усвоил?

Фоменко к тому времени уже требовались свои кадры, которые, как известно, решают все. И Макс, насколько я понял, работал нормально. Стася не подводил, но к делу относился спокойно, так как задумал невозможное: будучи преподавателем общеобразовательной средней школы сберечь нервную систему, которая «дается нам только один раз». Допускаю, что это могло удалиться, если бы не Кирибеев.

– Никогда не думал, что ученика можно ненавидеть! – признался Лебедев на той встрече у Стася.

– А ты думай о чем-нибудь хорошем! Например, о Чельшевой! – со смехом посоветовала Алла и пояснила мне: – В Макса влюбилась девятиклассница и постоянно вертится около учительской.

– А папа у нее, между прочим, кру-у-упный начальник! – дополнил картину Стась.

– Да полно тебе! – поморщился Лебедев, пробегая пальцами по пуговкам жилетки.

– Ничего не полно! Кирибеев тебя из-за нее на дуэль вызовет! – резвилась Алла, по забывчивости положив ладонь на мое плечо.

– Дуэль на указках! – подхватил я.

– Какая дуэль?! – рассердился Стась. – Теперешние пацаны не знают, что такое «лежачего не бить» или «до первой крови». Вчера смотрю: у Семенцовой на белом переднике след от кроссовки. Спрашиваю: «Это откуда?» А она ответила: «Мне Шибаев карате показывал!» Ладно, хватит о работе. Я зову Веру...

Пришла Вера, подозрительно поглядела на нас, словно мы хитростью хотели заманить ее в самый разгар педагогических споров, но сразу успокоилась, потому что солировал я, рассказывая, какие уморительные опечатки бывают в газетах.

– Андрюша, – спросила Вера, когда я замолчал, чтобы припомнить очередной газетный ляп. – Почему ты перестал печататься? Не пишется?

– Видишь ли, Вера, – хотел я отшутиться, но понял: нужно раскалываться, – я в газете не работаю...

– А где ты теперь? – поинтересовался Стась, не допускающий, что советский человек может нигде не работать.

– Пока нигде. Жду места в журнале. Разыскиваю роман Пустырева.

– А живешь на что? – жалостливо спросила Алла, выискивая на моем лице следы недоедания.

...От Фоменко мы вышли поздно. К ночи крещенскую слякоть прихватило морозом, и под ногами лопался звонкий, как мембрана, лед. Умецкая и Лебедев пошли к стоянке такси, а мы со Стасем задержались у подъезда, продолжая начатый разговор.

– Слушай, когда тебя в журнал обещали взять? – выпытывал он.

– Может быть, завтра, а может быть, через полгода... Как обстоятельства сложатся...

– Слушай, а не хочешь у меня поработать? Все-таки твердые деньги, и друга выручишь! У меня литераторша – в декрете, еле с почасовиком выкручиваюсь...

– Стасик, я давно все перезабыл...

– Вспомнишь!

– У меня большой перерыв – начальство не разрешит...

– Это уже мои трудности. Давай до конца учебного года, а?

– Нужно подумать...

– Думай. Даю тебе ночь на размышления! – сказал Стась, обнял меня и повлек туда, где затормозило пойманное такси. Из темного окна выглядывала Аллочка.

– Я теперь живу на «Семеновской», – весело сказала она. – А тебе куда?

– В ту же сторону! – со значением ответил я.

Фоменко крикнул вдогонку, что будет ждать звонка, а Макс церемонно кивнул. В ожидании машины он стоял у края тротуара со скульптурно протянутой рукой.

У таксиста было профессионально недовольное лицо, словно мы вытащили его из теплого дома да еще заставляем ехать бог знает куда.

– Ну, как тебе наш руководитель? – спросила Алла, найдя в темноте мою ладонь.

– Зовет на работу.

– Да ты что! – засмеялась она и крепче сжала мои пальцы. – Значит, снова будем все вместе! Здорово!..

За окном мелькали пустынные полночные улицы, и только на остановке возле кинотеатра былолюдно.

– Высадите нас возле булочной! – вымолвила Алла, не отдышавшись от наших дорожных лобзаний, и таксист затормозил с таким неудовольствием, точно ему приказали остановить только-только разогнанный до скорости света грузовой звездолет.

– Ты любишь настоящий кофе? – спросила Умецкая, глядя вслед уезжающей машине.

Отзыв на этот пароль я знал:

– Если настоящий – очень!

...А утром, когда зазвонил будильник и я, привыкший просыпаться в одиночестве, ощутил ломоту в теле и тоску в душе; а утром, когда Алла, хлопнув ладонью по дребезжащей кнопке и попросив: «Не смотри на меня», – ушла в ванную, откуда запахло хвойным шампунем; а утром... Одним словом, ничто так не отдаляет мужчину и женщину, как физическая близость, не оплаченная подлинной любовью... Хорошее начало для статьи, адресованной вступающим в личную жизнь!

Но мы опять отвлеклись, а ведь через три минуты нужно изымать изложения!

– Осталось тридцать секунд! Потом собираю тетради! – предупредил я. – Время пошло!..

По классу пронесся смерч вдохновения, все бросились дописывать самые главные, самые необходимые строчки, в которых и будет больше всего ошибок. Прогремел звонок, но, разумеется, писали почти всю перемену. Последней с тетрадью рассталась Рита Короткова, в глазах у нее стояло то мученическое выражение, та безнадежная мольба, с какими, наверное, несчастные славянки смотрели вслед кошмарным янычарам, увозившим голубоглазых малюток в басурманскую неволю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.